



НИКО ПИРОСМАНИШВИЛИ

I

Поговорим о сердце.

Которое скучает.

О дружбе. О любви.

О реке Рионе. Река Рион течет с гор и около города Кутаиса расширяется ее долина. Долина широкая и глубокая. Горы далеко.

Взболтанная и мохнатая течет река, и вода в ней прыгает вверх и вниз, как будто трясут ее в бутылке.

У Кутаиса в роще дубов вытоптана земля дочерна. Над Кутаисом стоят стены старой церкви.

Стены покрыты плющом.

А часть стен лежит на земле.

Плющ густой, с цепкими лапками, зелеными брезентами покрыл обломки. Как-



будто перевозят стены в другое место и разобрали и покрыли брезентом, чтобы их не замочило дождем.

В Кутаисе бежит, бурча, Рион.

Рион бежит мимо Кутаиса, но тут его останавливает плотина Рионгэса. Река утихнет у серой преграды и отсюда потечет она в две стороны—вниз обрывом воды и вверх на Сурамский перевал—электрическим током.

Здесь не скучает сердце.

В долине Риона, там, где он готовится уже разлиться в болото, в Мингрелии, пахали раньше тяжелым деревянным плугом. Буйволы, подкованные двойными подковами, прибитыми к широким разлапистым копытам, в три пары тянут плуг.

На переднем ярме, в месте, где дерево соединяет две низко опущенные шеи, спиной вперед, сидит мальчишка, правит.

Медленно ступают буйволы. Три пары. Двенадцать рогов. Двадцать четыре ноги.

Сейчас уже иначе пахут на Рионе.



Шумит трактор, шумят трактора Интерны /15 — 30/, тянут глубокоберущие тракторные плуги и тянут линию, тянут далеко, потому что трактор выгоден при работе длинными загонами.

И так изменяется все.

Глубже возьмет плуг, иначе вырастут колосья, иначе потечет Рион, и Кутаис уже накрыли брезентами и убирают. Даже лес, даже роща под Кутаисом изменяется. Там, вероятно, будут расти пробковые дубы.

Много лет тому назад, если считать не временем, жил в Кутаисе мальчик Нико Пиросманишвили. Он пахал, сидя на ярме чужих заемных буйволов. Пахал пас коз.

А потом он служил на железной дороге.

А потом пришел в город Тифлис.

Тифлис окружен кругом горами. В Тифлисе не дует ветер. В Тифлисе бежит взболтанная Кура.

И над Тифлисом ее уже остановили.
У Тифлиса горячая кровь. Она бежит
из склона Сололакского хребта и на
серой, мыльной, горячей крови стоят в
Тифлисе по купол вкопанные в землю тем-
ные серные бани.

Около бань базар майдан. И персидские
чайные. И бежит Кура. И прямо в Куру
опускаются старые стены домов. Над
Курою висят гнилые балконы. В Куру
впадает теплая мыльная серная речка.


Тогда — это было давно, если считать
не на время — Тифлис был еще теснее.
Балконы находили на балконы.

Тифлис был еще пестрей.

Фабрик не было.

Тифлис торговал. Мочил кожи в Куре,
сушил их на крышах домов, ковал в
открытых лавках медные котлы и в
серебряном ряду насекал серебряные вещи.

И тогда, как и сейчас, ходили по
Тифлису маленькие ослики, и на осликах
везли уголь, дрова.



У ослика лапки кажутся слабыми. На ослике дрова сложены костром. Ослик идет. Идет вперед. А если его нужно повернуть, его толкают в бок.

В подвалах шумели духаны. Хозяева сидели в прохладе и люди пили вино.

Молодое вино, маджари, от которого кружится голова. И старое вино, от которого еще сильнее кружится голова.

И ели утром кушанье—хаши—оно делает человека веселым даже после веселой ночи.

Когда поют сазандари, играют на дудках и бьют в бубен, у меня гудит душа. И я могу думать только с ними.

Не далеко думают сазандари и песня их, даже если знать язык, вероятно, не дальше цыганской песни.

Любимая песнь старика Толстого была: — „Не зови меня к разумной жизни“. Он говорил: „Вот это—поэзия“. Об этом дальше.



საქართველოს
ხალხთა რეპუბლიკის
ხალხთა ბიბლიოთეკა

II

Я тороплюсь к рассказу о сердце.

В греческой трагедии актер, для того, чтобы изменить выражение лица, менял маску. Иногда же маска имела две стороны. Сторону радости и сторону печали.

Но тогда надо ходить боком.

Очень трудно сказать через маску.

Очень немногим удастся сыграть себя без нее.

Толстой в „Анне Карениной“ говорил о снимании покровов и о том, что если бы ребенок понял то, что он понимает (он был тогда в маске и назывался Михайловым), то он смог бы так же написать, так же нарисовать. Толстой велел переводить себя на другие языки и потом обратно на русский.

И горевал, когда перевод расходился с толстовским текстом.

Всегда расходился.

Нико Пиросманишвили научился разводить краски и красил ими на клеенке



საქართველოს
რესპუბლიკის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

и на холсте людей, пасущих баранов.

Люди были одеты в длинные рубашки.

И, чтобы при переводе на другие глаза не ошибся зритель, он вносил в картину надписи.

„Бездетный миллионер и бедняк с детьми“.

Нико рисовал в духанах фазанов, таристов, дудуков.

Пошла слава. Слава от Авлабара до Майдана.

Потом пришли даже художники. Смотрели. Хотели понять, почему человек может сказать себя на полотне.

Когда произошла революция, то собрались художники и говорили о демократии. Пришел и Нико, а с ним еще другой низкорослый, много учившийся художник, который ему удивлялся.

Пиросманишвили сказал:

— Братья, сейчас нужно много думать. Купим деревянный дом. Поставим на столе самовар. И будем думать о том, что такое искусство.

Но поговорим о сердце.

Чешуйчатymi кажутся мостовые с горы спускающихся тифлисских улиц. Их мостят плоским булыжником, поставленным на ребро.

У Куры низкие, тенистые, черно-зеленые сады... Летом в них прохладно до холода. Садов много.

Танцовщиц и певиц верийских садов — эти женщины не были ни певицами, ни танцовщицами, — любил рисовать Пиросманишвили.

Он рисовал их такими, какими они хотели быть, и это было хорошо.

Раз в один сад приехала знаменитая певица, которая не была певицей.

Она пела на открытой сцене. Деревянная раковина эстрады не могла собрать ее голоса. Была только женщина на фоне дерева, покрашенного масляной краской.

В это время Нико Пиросманишвили уже был знаменит на Авлабаре.

Авлабар — это местность на правом берегу Куры, это старый Тифлис.

Друзья уже купили Нико молочную. Художник пошел на Головинскую. Там много торгуют цветами. Он купил и долго выбирал букет цветов. Эти цветы привозят кондуктора из Батума. Через холод Сурамского перевала.

Никс выбрал цветы, сам составил букет. Не знаю, какая на голове его была шапка; вероятно черная, войлочная.

Француженка жила, может быть, в гостинице Ориант, а может быть, и в номерах „Ахалцих“, перед серными банями. Тогда по четвергам мимо нее проходили на базар колокольчиками увешанные верблюды.

Пиросманишвили вошел в темный коридор. Постучался.

Там была комната, за дверями.

В комнате только запах был ее, а остальное от номеров.

Пиросманишвили передал цветы и не успел ничего сказать.



ницу, стали толпой на тротуаре, заставили улицу.

Вечером был пир в честь Нико, потому что Тифлис был потрясен и все кинто поняли, что сказал Пиросмანიшвили.

Сердце их в этот день не скучало.

Был пир. Гудел бубен. Пели сазандари как гости. Духанщики служили Пиросманишвили и пили сперва с ножа потом с донышка стакана потом пили из рога и с тостом бросали рог через стол.

Все были нарядные. И все в эту ночь были красноречивы.

Были тосты и речи, которые я, простите, не знаю.

Глубокой ночью пришла записка и один из гостей перевел Пиросманишвили, что было нацарапано на ней.

Записка была из номеров и написано было: „Приходите сегодня ночью“.

Был пир. Пели сазандари. Шли тосты. Шло время. Углублялись тени на чешуйчатых улицах. Сменялись песни.

Нико не мог уйти.

Поговорим о сердце, о любви, о дружбе.

Нико не мог уйти от гостей, которые его пригласили.

Шло время. На часах городской думы, что смотрят над Эриванской площадью.

Шло время на серебряных часах духанщика.

Нико не мог уйти.

Гости засыпали на коврах. Уже подул ветер. Вставало солнце, просыпались гости.

Смеялись духанщики: „Хочешь хаши, Нико?“.

Они забыли, что не отпустили его, и думали, что он провел веселую ночь.

Просыпался Тифлис. Шли ослики с кострами дров, сложенными поверх хурджин. Зацветали овощами базары.

Сазандари взяли широкие оловянные рожки.

Нико налил рог вина. Он поднял руки с вином к небу. Сазандари трубили гимн солнцу.

И солнце вставало на голос.
